

# Содержание

---

Лена Мухина на границах времен. *Сергей Яров* ..... 7

БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК ЛЕНЫ МУХИНОЙ ..... 17

Комментарии ..... 345

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Хронология событий в Ленинграде  
в июне 1941 — мае 1942 годов ..... 367

Необходимое послесловие:  
Как была восстановлена биография Лены Мухиной ..... 375

## Лена Мухина на границах времен

---

**Б**ЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК ЛЕНИНГРАДСКОЙ ШКОЛЬНИЦЫ Лены Мухиной — документ, необычный во многих отношениях. Кажется, что перед нами роман — с завязкой и сюжетом. Этому тексту присущи, как классической трагедии, единство времени, места и действия. И развязка, горькая и предсказуемая.

Первая запись в дневнике сделана Леной 22 мая 1941 года. Ничто еще не предвещало беды. Наступало лето, занятия в школе заканчивались. Впереди были экзамены, но она чаще думала не об учебе, а о своем однокласснике Вове. Пересказ девичьих тайн, размышления о том, кто из одноклассников и почему ей нравится, — основное содержание довоенной части дневника.

И сразу, с первых страниц, ощущается особая интонация, присущая записям Мухиной. Она не только рассказывает о событиях собственной жизни, больших и малых, но и постоянно всматривается в себя, переосмысляет свои впечатления, пытается разобраться в своих чувствах. И самое главное — стремится выразить это художественным языком, хотя порой и неумелым. Этот нарождающийся «собственный стиль» ощутим уже в «мирных» записях мая—июня.

Но «смертное время» придало ее письму драматическую тональность, сделало более устойчивыми художественные импульсы.

День 22 июня навсегда перечеркнул ее жизнь, но знать этого она не могла. Строки, посвященные первым дням войны, отмечены накалом патетики, и, увлеченная всеобщим порывом, она почти целиком передает в дневнике сводки Информбюро. Язык записей тех дней тоже заимствован из официозных сообщений, но отклик Лены непосредствен и искренен. Она словно «достаивает» газетные тексты, используя тот же набор пафосных «взрослых» слов, мало свойственных подростку: «Идут мобилизованные, их провожают жены, дети, любимые девушки». Она захвачена общим порывом, ей трудно сдерживать себя, ее записи похожи на крик: «За нами победа, товарищи!»

Спустя недели этот пафос ослабевает. Человек не может жить только экзальтацией, повседневные заботы одолевают его, притупляя остроту ощущений. Враг где-то далеко, сообщения с фронтов уклончивые и смутные, нет еще ни налетов, ни обстрелов, голод пока не ощущается. У школьницы Мухиной свои интересы и увлечения, их не заслоняет даже война. Ей хочется писать о привычном, о том, что ближе, лирические зарисовки в июле—августе еще преобладают в дневнике.

Все резко меняется в сентябре 1941 года. Чем дальше, тем страшнее оказывается блокадная жизнь. Неутешительны вести с фронта, уже нет надежды на быстрое окончание войны. Неудержимо хочется есть, все время «сосет под ложечкой», неистощимы разговоры о прошлом, «сытом», времени. «О Господи Боже мой, что с нами делают...» — этим криком она пытается передать ужас перед бездной, в которую погружался город.

«Лешенька, несчастные мы с тобой!» — скажет перед смертью мама Лена, ее приемная мать. Врачные, пропи-

таннные безнадежностью записи января—февраля подтверждают горечь этих слов.

Весной 1942 года дневник все чаще превращается в прихода-расходную книгу. Текст приобретает несвойственную ему ранее монотонность. Записи здесь об одном и том же: об эвакуации, о том, что было съедено сегодня и что предстоит съесть завтра, об «отоваривании» продовольственных «карточек». Эмоциональные взрывы, столь частые у Лены прежде, теперь случаются более редко, меньше заносится в дневник собственных стихов, «рассказов-фантазий». Ничто ей не интересно, ничто не волнует: прошлое обжигает, будущее выглядит несбыточным. Так, тягостными предчувствиями заканчивается ее дневник.

Уникальным этот документ делает личность его автора — человека исключительно эмоционального, нервного, бурно отзывающегося на все вокруг. Лене свойственны резкие перепады настроения даже в течение нескольких часов. Одна запись в дневнике — «тоска, тоска меня грызет и гложет» — почти соседствует с другой: «Сейчас мне хочется петь и смеяться. Мне так хорошо, что прямо чудо».

Ее привлекают яркие сцены. Самые драматические эпизоды описаны подробно, а «бледные», невыразительные — быстро, сжато, порой невнятно. «...Вдруг обхватил меня ладонями за виски, порывисто прижал меня к себе и поцеловал меня в лоб... так нежно, нежно поцеловал» — она с замиранием сердца слушает рассказ подружки о прощании с возлюбленным и тщательно записывает ее признание. Она ищет такие истории, непременно отмечает их, спрашивает о них. Все, вызывающее сильные эмоции — особенно смешные детские стишки, лирические и сентиментальные романсы, «блатные» песенки, удачные загадки, «красивые» цитаты из книг и, конечно, собственные стихотворения, — обязательно помещается ею в дневник. Все яркое, только яркое, всегда яркое. Даже весной 1942 года, когда апатия

и усталость все прочнее овладевают ею, Лене хочется новых встреч, новых людей, новых впечатлений, новой жизни.

Наблюдательность — ее отличительная черта. Она пристально вглядывается в каждую деталь блокадного быта, с волнением переживает любой эпизод. Вследствие этого блокадные зарисовки в ее дневнике становятся пластичными, а изображение картин повседневности — предельно выуклым. В бомбоубежище, где иной очевидец замечал лишь перепуганную толпу, она обращает внимание на то, как выглядит сидящий рядом подросток, и подробно пишет о цвете его глаз, о выражении лица, о невинной, извиняющейся, смущенной улыбке... Жесты, слова, ситуации, портреты людей, близких и чужих, — все заносится в дневник с почти педантичной скрупулезностью. О блокадной «елке» рассказывали многие ленинградцы — обычно скороговоркой, отмечая только праздничные подарки. Не так у Лены. Иногда кажется, будто это мы стоим на лестнице, ждем своей очереди, ловим слухи о меню обеда, придирчиво оцениваем содержимое тарелок, украдкой перекладывая «гущу» в стеклянную банку для матери. В рассказе о «елке» нет ни одной фальшивой ноты, нет и намека на театральность поступков, нет пафосных восклицаний. Какая уж тут патетика: «Воспользовавшись темнотой, вылизала пальцами начисто весь горшок».

Чувственные, многословные, извилистые, картинные описания требовали и нового языка. Не того, каким пишутся школьные сочинения, правильного и простого, а языка сложного, красочного, подчас афористичного. Граматику и орфографию Лена знала не очень хорошо. Многие слова, особенно непривычные, она явно воспринимала на слух, из радиопередач и житейских разговоров. О «двойке», поставленной преподавателем за сочинение, Мухина сообщает и в дневнике. Ей нравится писать красиво, а как это сделать, готовя письменную работу на тему об угнетении народа при царизме?

Но писать красиво, поэтично, небанально она пытается, и это расширяет ее словарь: нельзя ведь одними и теми же фразами передать оттенки лица, чувств, настроений. «Широкая, спокойная гладь реки серебрилась под спокойным лунным блеском», — пробует она себя в роли литератора, запечатлевая в дневнике эпизоды окопных работ в деревне Тарковичи. Даже по этой краткой записи видно, как трудно ей даются отход от беллетристических трафаретов и попытка обновить свой, пока небогатый лексикон. Заметно, что «литературное» все же чаще рождалось у нее стихийно, под влиянием внезапно нахлынувших чувств, а не в силу обдуманности замысла.

Возникает своеобразная «чересполосица» языка, возвышенные метафоры смешиваются с просторечиями. С романтического языка Лена часто переходит на язык советский, с его характерными штампами: «Послевоенная жизнь будет легка, радостна и плодотворна для советских граждан» — такова одна из записей ее дневника. Ростки особого, живописного языка трудно пробиваются у нее сквозь броню бесчисленных клише — политических и бытовых. Да и как это сделать в условиях блокады? Не одно претендующее на художественность описание прерывалось в дневнике прозаичными размышлениями о хлебе, «карточках», пайках, гробах — как тут подбирать «красивые» выражения. О повседневности лучше и понятнее говорить разговорным языком — он и преобладает в записях декабря 1941 — февраля 1942 года.

Политический язык дневника неустойчив. Политическая риторика занимает заметное место в текстах июля—сентября 1941 года и постепенно исчезает из дневника к ноябрю—декабрю. Особенно показательна сделанная в начале января 1942 года запись о том, как «жрут в Кремле» — не случайно, наверное, учительница упрекнула ее как-то за то, что она «одна из наиболее антисоветски настроенных» в классе.

«Правильный» советский язык вновь начинает проскальзывать у нее с конца января 1942 года, иногда это проявление благодарственного отклика на повышение норм пайков. Но в целом дневник остается аполитичным. Это и понятно — нужно было необычное усилие, чтобы после ужасов блокадной зимы наполнить его страницы пафосными строками.

Первой и очень отчетливой попыткой придать дневниковому тексту художественный оттенок следует считать использование в нем диалогов. Особенно это характерно для записей лета 1941 года — позднее Лена к этому приему прибегает редко. Легче, конечно, неискушенному писателю дать стенограмму разговоров, чем попробовать отшлифовать их, нарочито оборвать с целью создания художественного эффекта, оттенить, подчеркнуть, выдвинуть на первый план самые живописные детали. Диалоги для Лены, наверное, это наилучший способ сохранить свежесть пережитого.

Другой вид Лениных беллетристических опытов — «рассказы-фантазии» о том, каким светлым станет ее будущее. На них нужно остановиться подробнее. Надо отметить, что дневник является одним из способов вытеснения из сознания блокадной травмы, приемом своеобразного «замещения». В дневнике есть все то, чего не хватало Лене и о чем она мечтала в те страшные дни. Удивительно, но самые страшные приметы блокады — трупы, брошенные на улицах, оскверненные и ограбленные, драки у булочных из-за сахара и масла, воровство продовольственных «карточек», крысы, вши, нескончаемая череда «пеленашек» (завернутых в простыни покойников, которых везут на кладбище), залитые нечистотами лестницы и дворы — либо вовсе отсутствуют в ее записях, либо не получили здесь столь же подробного освещения, как в других блокадных дневниках. Она, может быть подсознательно, оберегает себя от всего жестокого. Сколько теплых слов было припасено ею для

одноклассника, который ей нравился, — особенно это проявлялось в записях лета 1941 года. Но вот он встретился ей после пережитой катастрофы, в мае 1942-го — совсем «высохший», ужасно истощенный, пытавшийся подкормиться в стационаре. Ни ярких красок, ни бурных чувств — описание сразу заканчивается, едва только началось.

Чаще Лене хочется писать о чем-нибудь хорошем, о том, как удалось выгодно обменять вещи на продукты, какую интересную профессию приобретет в будущем, какие красивые открытки посчастливилось купить на рынке. Обратим внимание на то, как часто в дневнике перечисляются продукты — те, какие получили сегодня, и те, которые надеются получить завтра. Помещенный Леной в дневниковой записи 16 ноября 1941 года рассказ о том, как она будет питаться после окончания блокады, вырастает именно из этих перечней, но увеличивает их чуть ли не в геометрической прогрессии. Перечисление продуктов как способ «замещения» недостающей еды характерно почти для всех авторов блокадных дневников, но в рассказе Лены это приобретает едва ли не гиперболическое выражение.

На пиршественном столе, который она соорудит после войны, мы видим обилие яств, способное поразить любое воображение. Чувство голода она пытается приглушить не просто картинами скудного довоенного быта, а именно чрезмерностью блюд, разнообразных и обильных. Только этой чрезмерной насыщенностью приметам цивилизованной жизни и удавалось вытеснить кошмар блокадной повседневности.

«Рассказ-фантазия» о будущей поездке по стране строится на тех же приемах «замещения». Лене невыносимо видеть грязь разбитых бомбами домов — и в вагоне для путешественников должно быть чисто и светло. Там тепло, там нет стужи промерзших ленинградских квартир. Там уютно — на окнах голубые занавески, на столике чай с вкусным



печеньем, за окном — красивые виды природы. С каким-то иступлением тянется она из блокадного ада к доброму и прекрасному: «от избытка сердца говорят уста».

Рассказ о том, как умерла ее приемная мать и как она пережила эту трагедию, — не «фантазия», но как и тут характерны приемы ее «психологической» самозащиты. К чему она только не прибегает, чтобы смягчить горе! Она уверяет себя, что живет теперь сытно, что довольна жизнью, но боль не проходит. Она готова поверить в то, что мать не погибла, только ушла из дому, но вернется, — и это не помогает. Она передает разговор с матерью за несколько часов до ее смерти. Вот ее живой голос, неловкие движения: она продолжает по-прежнему жить с ней, — нет, так не бывает.

Натуралистических описаний гибели родных в блокадной литературе много, но взгляд Лены отмечает не только агонию матери. Прежде всего она стремится оттенить ее стойкость и, главное, достоинство умирания. Нет у матери жадности, не унижает она себя чрезмерными просьбами, не раздражается, не попрекает никого: «Мамуля, ты умерла, слабела с каждым днем, но ни одной слезинки, ни жалоб, ни стонов, ты старалась ободрить меня, даже шутила».

«Я решила теперь писать свой дневник в новой форме, от 3-го лица, в виде повести. Такой дневник можно будет читать как книгу», — пишет Лена 30 апреля 1942 года. Возможно, здесь есть и желание игры, отрывающей от рутины опостылевшей блокадной жизни, есть и предчувствие чего-то нового, интересного и необычного — Лена тянулась к нему всегда. Все это так, но, наверное, тут есть и что-то потаенное, может быть, неясное и для нее самой. Куда заведет эта игра?

Нельзя не видеть, что рассказ от третьего лица — это тоже способ оградиться от кошмара, сказать себе, что это произошло ведь не с ней, а с другой девушкой, — и тем самым отделить себя от человека, перенесшего столько бед, потерь, изнемогшего под тяжестью чудовищных ударов... Раздвое-

ние здесь не только художественный прием, за этим чувствуется человеческая драма — невысказанная, но определяющая характер многих поступков.

Слишком поздно Лена начала сочинять свою повесть. Попытка писать в третьем лице мало изменила содержание дневника. Теперь текст выглядит даже менее художественным, чем ее прежние «рассказы-фантазии», — все отгорело, сил ни на что не осталось, одного ей хочется — быстрее вырваться из города.

Лена стремилась создать нечто художественное, а это и не нужно было. Сам ее дневник естественно, без всяких ухищрений стал романом — грандиозной фреской малого мира одинокого человека, фреской, которая помогает понять большой мир блокадного сообщества. Ее дневник многомерен. Это и рассказ о ежедневной борьбе за выживание — с перечнем «карточек», талонов, граммов, бесчисленных «мен». Это и запись ощущений — тьмы, безысходности, несправедливости. Это и свидетельство о стойкости людей, не бросивших родных и друзей в трудную минуту.

Но не только об этом ее дневник. Перед нами стенограмма распада нравственных норм, и мы видим, как блокада ломала людей, вытравляла у них чувство сострадания, делала безразличными, жестокими и корыстными. Каждый мечтал выжить — и менялись представления о чести и порядочности, и возникала мысль о том, что жить было бы лучше и сытнее, если не делиться с родственниками-иждивенцами. Лена боится в этом признаться даже самой себе, но голод терпеть трудно, а искушения возникают все чаще и чаще.

И одна из самых горьких и стыдных для Лены записей — строки об ожидании смерти Аки, близкой подруги ее приемной матери, жившей в их семье. «...Это будет лучше и для нее...» — пишет Лена. И тут же ужасается самой себе: «Я сама не знаю, как я могу писать такие строки».

Лена Мухина оказалась на границах времен — войны и мира, детства и юности. Без всяких переходов она шагнула в жизнь страшную и беспощадную — оглушенная ею, не успев оглянуться и проститься со своим прошлым, не умея смягчить наступившего ужаса. Она хотела изучить «до атома» всю природу. И создать книгу о первой любви и дружбе. И поехать в горы, на море. И иметь альбом с красивыми фотографиями. И купить килограмм черного хлеба и пряников, обильно полить их маслом. И испечь пирожков с картошкой, мясом, капустой, морковью. Как ребенку, ей всего хотелось — и ничего не удалось. Она осталась на границах времен — по-детски непосредственная, не признающая авторитетов, не терпящая несправедливости, стремящаяся к чувственному, красочному, необычному.

«И будет тебе, барышня, в жизни твоей через мужа твоего разлюбезного счастье тебе превеликое. И будешь жить припеваючи. Злых дней не ведаючи» — так нагадала ей цыганка. Не сбылось. Ни мужа, ни детей у нее не было. Перебивалась случайными заработками. Часто болела. Многие годы не могла уехать из общежития.

Остался ее дневник — драгоценное свидетельство о Ленинградской блокаде, где «злых» дней было не перечесть. Есть высшая справедливость в том, что ее голос не утерян и его слышим мы, живущие в другое время и в другом мире. Ничего ведь и не было у нее в бесприютном одиночестве, кроме этого дневника. И не могла она знать, прочтут ли его, или будет он затерян навсегда. Но книги, как и люди, имеют свою судьбу, — и будем благодарны Елене Мухиной за то, что она сохранила эти строки о великой народной беде.

*Сергей Яров*

Блокадный дневник  
Лены Мухиной

---

Считай потерянным для себя тот день, когда ты не узнал ничего нового, не научился ничему полезному!

Каждый может стать ловким, сильным, мужественным. Для этого нужно только одно — воля!

Воля побеждает.

Волевой человек — это человек настойчивый, упорный.

Человек не рождается смелым, сильным, ловким. Этому он учится настойчиво, упорно, как и грамоте.

## Сегодня 22 мая

---

Я легла спать в 5 часов утра, всю ночь учила литературу. Сегодня встала в 10 часов и до без  $\frac{1}{4}$  1-ого зубрила опять поганую литературу. В без  $\frac{1}{4}$  1 пошла в школу.

У подъезда вижу — стоят наши Эмма, Тамара, Роза и Миша Ильяшев, уже сдали и счастливые такие. Желают нам счастливого пути. Я поздоровалась с Люсей Карповой и с Вовой. Звонка на урок еще не было, мы ожидали в зале. В нашей группе все наши мальчики, кроме Вовки Клячко. Я спросила Вову, успел ли он все повторить. Он сказал, что не все, я бы хотела еще что-нибудь ему сказать, но он пошел к своим мальчишкам.

---

Явные описки исправлены без оговорок, однако лексические и стилистические особенности текста дневника сохранены. Пунктуация дана согласно современным требованиям русского языка. В квадратных скобки заключены недостающие слова или части слов. Отдельные неразобранные слова обозначены в тексте знаком (нрзб.).

В постраничных примечаниях оговорены ошибки, имеющие смысловое значение, неразборчиво написанные в тексте слова, а также недописанные предложения. Краткие комментарии, предназначенные для уточнения некоторых реалий военной, в том числе блокадной, жизни и деятельности ленинградцев даны в конце дневника. — *От публикаторов.*

Прозвонил звонок, мы поднялись по лестнице и вошли в класс. Все очень волновались, я же была спокойна, так как была уверена в том, что провалюсь: биографии все перепутались, даты тоже. Кроме того, я не успела даже прочесть некоторое. Надо отдать справедливость, что я за себя меньше волновалась, чем за других.

Мы сели с Люсей за предпоследнюю парту. А перед нами сели Леня, Яня, а в середине Вовка. Начали вызывать. А я больше думала о Вовке, чем о испытаниях. И не то что я за него волновалась, нет, даже хотела б, чтоб он провалился. Нет, мне хотелось с ним общаться, с ним разговаривать, чувствовать на себе его взгляд и вообще как можно ближе быть к нему. Если б он провалился, то он был бы грустный и печальный, а я так люблю видеть его таким. Когда он печален, мне кажется, что он так близок, хочется положить ему руку на плечо, утешить его, чтоб он посмотрел в глаза и ласково, признательно улыбнулся. И сейчас он был так близко, вот немного протянешь руку и дотронешься до его локтя, который он положил на нашу парту. Но нет, мне не решиться на это, он так далек, сзади сидят девочки, они поймут мое движение, рядом с ним сидят его товарищи. Они заметят, что-нибудь подумают, и тогда это будет не то, не то. Что не то? Сама не знаю. Я сидела, подпершись руками, и так, чтобы никто не видел, следила за Вовой. Нет, не следила, а так просто смотрела на него. Мне доставляет удовольствие и большое удовлетворение смотреть на его спину, на волосы, на уши, на нос, на выражение лица. Вова сидел вполупоборот, смотрел на отвечающего Димку и изредка переговаривался то с Яней, то с Леней. Хоть бы раз ко мне оглянулся. Почему с Яньюкой и Леней переговаривается и переглядывается, а со мной как будто меня нет. Но нет, куда мне до них: Вова не девочка, я не мальчик. И потом, разве я исключение, ведь с другими девочками он же тоже не переглядывается. Я на минуту за-

былась, уткнув голову в парту. Но когда опять взглянула на него, нет, не могу, чего я боя[ла]сь, он, дорогой Вовка, совсем такой, как тогда в театре, и в том же костюме, и улыбка та же. Мою робость как рукой сняло, и вот его-то я люблю больше всех других, подумала я, нисколько не смутилась от таких мыслей. Я подвинула к себе Люсину тетрадь с программой по литературе и написала на обложке: «Желаю тебе сдать на отлично». Толкнув его за локоть, я придвинула к нему написанное. Он сразу же обернулся, и, вероятно, ему это было приятно, он весь просиял и пожелал мне того же. Я издала что-то нечленораздельное и мотнула как-то головой, я этим хотела показать ему, что уверена, что провалюсь.

Потом меня вызвали, я села на вторую парту, ни разу не обернувшись на ребят, так что не видела Вовку и не знаю, интересовался ли он моей участью. Я сидела и знала, что за мной сидят еще не вызванные ребята и Вовка. Мне так хотелось бы, чтобы Вова в это время думал бы обо мне, беспокоился. Может быть, это так и было. Право, не знаю. Вскоре вызвали и его, он сел передо мной.

Мне попался жуткий билет, и я ни первый, ни второй пункты не знала. Я решила подождать немного и переменить билет. Мне ничего другого не оставалось делать. Вова сидел, согнувшись в три погибели, и, вероятно, нервничал. Листок, который он только что исписал, он рвал и теребил в своих руках. Потом начал лохматить свои волосы, потом задумался и начал снова писать. Раза два-три он обернулся, и в один из них мы встретились глазами. Он как-то беспомощно, я вопросительно. Знаешь? Он неопределенно мотнул головой. Потом он снова стал что-то писать...

Я взяла другой билет и сразу, взглянув на него, поняла, что еще не все погибло:

- 1) Мотивы лирики Пушкина.
- 2) Сентиментализм.
- 3) Композиция «Героя нашего времени».